Александр Куприн

# Поединок

## X0

Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро. Цвела черемуха.

Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было много унизительного для молодого офицера, а ротный командир, капитан Слива, умел делать их еще более острыми и обидными.

Этот человек представлял собою грубый и тяжелый осколок прежней, отошедшей в область предания, жестокой дисциплины, с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины, и о нем передавалось много курьезных, почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за пределы строя, устава и роты и что он презрительно называл чепухой и мандрагорией, безусловно для него не существовало. Влача во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве официальной части «Инвалида». Всякие развлечения, вроде танцев, любительских спектаклей и т. п., он презирал всей своей загрубелой душой, и не было таких грязных и скверных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего солдатского лексикона. Рассказывали про него, — и это могло быть правдой, — что в одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей. Слива послушал-послушал и вдруг крикнул денщику:

— З-захарчук! П-прогони эту п-тицу ка-камнем. М-мешает…

Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно суров с солдатами в не только позволял драться унтер-офицерам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости: денег, приходивших из деревни, не задерживал и каждый день следил лично за ротным котлом, хотя суммами от вольных работ распоряжался по своему усмотрению. Только в одной пятой роте люди выглядели сытнее и веселее, чем у него.

Но молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы, которым его врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Если, например, на ученье субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке:

— От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п-подпоручик идет в ногу.

Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он поспешно, но едко прибавлял:

— З-за исключением г-господ офицеров и подпрапорщика.

Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех случаях, когда младший офицер опаздывал в роту, и это чаще всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали заметив подпоручика, Слива командовал роте «смирно», точно устраивая опоздавшему иронически-почетную встречу, а сам неподвижно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места. Иногда же он с яростною вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты: «Я думаю, подпоручик, вы позволите продолжать?» В другой раз осведомлялся с предупредительной заботливостью, но умышленно громко, о том, как подпоручик спал и что видел во сне. И только проделав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал ему грубый выговор.

«Эх, все равно уж! — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте. — И здесь плохо, и там плохо, — одно к одному. Пропала моя жизнь!»

Ротный командир, поручик Веткин, Лбов и фельдфебель стояли посредине плаца и все вместе обернулись на подходившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему головы. В эту минуту Ромашов представил себе самого себя — сконфуженного, идущего неловкой походкой под устремленными на него глазами, и ему стало еще неприятнее.

«Но, может быть, это вовсе не так уж позорно? — пробовал он мысленно себя утешить, по привычке многих застенчивых людей. — Может быть, это только мне кажется таким острым, а другим, право, все равно. Ну, вот, я представляю себе, что опоздал не я, а Лбов, а я стою на месте и смотрю, как он подходит. Ну, и ничего особенного: Лбов — как Лбов… Все пустяки, — решил он наконец и сразу успокоился. — Положим, совестно… Но ведь не месяц же это будет длиться, и даже не неделю, не день. Да и вся жизнь так коротка, что все в ней забывается».

Против обыкновения, Слива почти не обратил на него внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только когда Ромашов остановился в шаге от него, с почтительно приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе ногами, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы, похожие на пять холодных сосисок:

— Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за пять минут до прихода старшего субалтерн-офицера и за десять до ротного командира.

— Виноват, господин капитан, — деревянным голосом ответил Ромашов.

— От, извольте, — виноват!.. Все спите. Во сне шубы не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам.

Вся рота была по частям разбросана по плацу. Делали повзводно утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренгами, на шаг расстояния друг от друга, с расстегнутыми, для облегчения движений, мундирами. Расторопный унтер-офицер Бобылев из полуроты Ромашова, почтительно косясь на подходящего офицера, командовал зычным голосом, вытягивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза:

— Подымание на носки и плавное приседание. Рук-и-и… на бедр!

И потом затянул, нараспев, низким голосом:

— Начина-а-ай!

— Ра-аз! — запели в унисон солдаты и медленно присели на корточки, а Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил шеренгу строгим молодцеватым взглядом.

А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сероштан выкрикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого петушка, голосом:

— Выпад с левой и правой ноги, с выбрасываньем соответствующей руки. — Товсь! Начинай. Ать-два, ать-два! — И десять молодых здоровых голосов кричали отрывисто и старательно: — Гау, гау, гау, гау!

— Стой! — выкрикнул пронзительно Сероштан. — Ла-апшин! Ты там что так семетрично дурака валяешь! Суешь кулаками, точно рязанская баба уфатом: хоу, хоу!.. Делай у меня движения чисто, матери твоей черт!

Потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к машинам, которые стояли в разных концах плаца. Подпрапорщик Лбов, сильный, ловкий мальчик и отличный гимнаст, быстро снял с себя шинель и мундир и, оставшись в одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к параллельным брусьям. Став руками на их концы, он в три приема раскачался, и вдруг, описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на полторы сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко, по-кошачьи, присел на землю.

— Подпрапорщик Лбов! Опять фокусничаете! — притворно-строго окрикнул его Слива. Старый «бурбон» в глубине души питал слабость к подпрапорщику, как к отличному фронтовику и тонкому знатоку устава. — Показывайте то, что требуется наставлением. Здесь вам не балаган на святой неделе.

— Слушаю, господин капитан! — весело гаркнул Лбов. — Слушаю, но не исполняю, — добавил он вполголоса, подмигнув Ромашову.

Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечания.

— Не болтай ногами. Носки уверх!

Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека, почти карлика, с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых, как будто раз навсегда с самого дня рождения, застыл тупой, покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести.

Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник.

— Подтягивайся, собачья морда, подтягивайся-а! — кричал унтер-офицер. — Ну, уверх!

Хлебников делал усилия подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос. И вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю.

— А-а! Не желаешь делать емнастические упражнения! — заорал унтер-офицер. — Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я т-тебе!

— Шаповаленко, не сметь драться! — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. — Не смей этого делать никогда! — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо.

Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка.

— Слушаю, ваше благородие. Только позвольте вам доложить: никакой с им возможности нет.

Хлебников стоял рядом, сгорбившись; он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу.

После гимнастики, когда людям дан был десятиминутный отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца, у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде.

— От, извольте угадать, где нарвешься! — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. — То есть, скажу я вам: именно, у каждого генерала своя фантазия. Помню я, был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса. Он из инженеров к нам попал. Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все побоку. С утра до вечера строили всякие ложементы, матери их бис! Летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир десятой роты, капитан Алейников, царство ему небесное, был представлен к Анне за то, что в два часа построил какой-то там люнет чи барбет.

— Ловко! — вставил Лбов.

— Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлыч, — стрельба при генерале Арагонском.

— А! Примостився стреляти? — засмеялся Веткин.

— Что это такое? — спросил Ромашов.

Слива презрительно махнул рукой.

— А это то, что тогда у нас только и было в уме что наставления для обучения стрельбе. Солдат один отвечал «Верую» на смотру, так он так и сказал, вместо «при Понтийстем Пилате» — «примостився стреляти». До того головы всем забили! Указательный палец звали не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза — был прицельный глаз.

— А помните, Афанасий Кириллыч, как теорию зубрили? — сказал Веткин. — Траектория, деривация… Ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату: вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь? «Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола». Но зато уж стреляли. Помните, Афанасий Кириллыч?

— Ну, как же. За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. Десять процентов свыше отличного — от, извольте. Однако и жулили мы, б-батюшки мои! Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на пять пуль больше, чем выпустили. Сто пять процентов попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать.

— А при Слесареве, помните шрейберовскую гимнастику?

— Еще бы не помнить! Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих, черт бы их драл! Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж, что называется — приидите, последнее целование. Прежде по крайности знали, что с тебя спросят, а теперь? Ах помилуйте, солдатик — ближний, нужна гуманность. Дррать его надо, расподлеца! Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение. Суворовцы! Не знаешь теперь, чему солдата и учить. От, извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку…

— Да, это не шоколад! — сочувственно кивнул головой Веткин.

— Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют. И насквозь! Ну-ка, попробуй — посторонись-ка. Сейчас приказ: «У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает».

— Лукавый старикашка, — сказал Веткин. — Он в К-ском полку какую штуку удрал. Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать: «Ложись!» Тот помялся, однако командует: «Ложись!» Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. А генерал при нижних чинах давай пушить командира: «Как ведете роту! Белоручки! Неженки! Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете, если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а бабы, и командир — баба! На абвахту!»

— А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина! А ударить его, каналью, не смей. Не-е-ет… Помилуйте — он личность, он человек! Нет-с, в прежнее время никаких личностев не было, и лупили их, скотов, как Сидоровых коз, а у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует!

— Бить солдата бесчестно, — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. — Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно!

Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпятив вперед нижнюю губу под короткими седеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова.

— Что т-тако-е? — протянул он тоном крайнего презрения.

Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось, точно во всем теле сразу.

— Я сказал, что это нехорошо… Да, и повторяю… вот что, — сказал он несвязно, но настойчиво.

— Скажит-те пож-жалуйста! — тонко пропел Слива. — Видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щелкать. В а-атличнейшем виде. Не хуже меня.

Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом:

— Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка.

— Что-с? — крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвался. — Однако довольно-с этой чепухи-с, — сказал он сухо. — Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью двадцать пять лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу, — закончил он сердито.

Он резко повернулся к офицерам спиной.

— Охота вам было ввязываться? — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым. — Сами видите, что эта слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите, — он вас под арест законопатит.

— Да послушайте, Павел Павлыч, это же ведь не служба, это — изуверство какое-то! — со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов. — Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами! Они нарочно стараются поддерживать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество.

— Ну да, это, конечно, так, — подтвердил равнодушно Веткин и зевнул.

А Ромашов продолжал с горячностью:

— Ну кому нужно, зачем это подтягивание, орание, грубые окрики? Ах, я совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только три дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь Арчаковский. Я в собрании в разговоре назвал его поручиком, потому что и он меня называет подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной и мы вместе пили пиво, закричал на меня: «Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик, а во-вторых… во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином!» И я встал и стоял перед ним как оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. Нет, нет, не говорите ничего, Павел Павлыч. Мне все это до такой степени надоело и опротивело!..

## XV

Первого мая полк выступил в лагерь, который из года в год находился в одном и том же месте, в двух верстах от города, по ту сторону железнодорожного полотна. Младшие офицеры, по положению, должны были жить в лагерное время около своих рот в деревянных бараках, но Ромашов остался на городской квартире, потому что офицерское помещение шестой роты пришло в страшную ветхость и грозило разрушением, а на ремонт его не оказывалось нужных сумм. Приходилось делать в день лишних четыре конца: на утреннее ученье, потом обратно в собрание — на обед, затем на вечернее ученье и после него снова в город. Это раздражало и утомляло Ромашова. За первые полмесяца лагерей он похудел, почернел и глаза у него ввалились.

Впрочем, и всем приходилось нелегко: и офицерам и солдатам. Готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, на устали. Ротные командиры морили свои роты по два и по три лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, изо всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто издали, шагов за двести, Ромашов наблюдал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки и — только спустя секунду — сухой треск удара, и опять, и опять, и опять… В этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, — били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться; наступил какой-то общий чудовищный, зловещий кошмар; какой-то нелепый гипноз овладел полком. И все это усугублялось страшной жарой. Май в этом году был необыкновенно зноен.

У всех нервы напряглись до последней степени. В офицерском собрании во время обедов и ужинов все чаще и чаще вспыхивали нелепые споры, беспричинные обиды, ссоры. Солдаты осунулись и глядели идиотами. В редкие минуты отдыха из палаток не слышалось ни шуток, ни смеха. Однако их все-таки заставляли по вечерам, после переклички, веселиться. И они, собравшись в кружок, с безучастными лицами равнодушно гаркали:

Для расейского солдата

Пули, бонбы ничего,

С ними он запанибрата,

Все безделки для него.

А потом играли на гармонии плясовую, и фельдфебель командовал:

— Грегораш, Скворцов, у круг! Пляши, сукины дети!.. Веселись!

Они плясали, но в этой пляске, как и в пении, было что-то деревянное, мертвое, от чего хотелось плакать.

Одной только пятой роте жилось легко и свободно. Выходила она на ученье часом позже других, а уходила часом раньше. Люди в ней были все, как на подбор, сытые, бойкие, глядевшие осмысленно и смело в глаза всякому начальству; даже мундиры и рубахи сидели на них как-то щеголеватее, чем в других ротах. Командовал ею капитан Стельковский, странный человек: холостяк, довольно богатый для полка, — он получал откуда-то ежемесячно около двухсот рублей, — очень независимого характера, державшийся сухо, замкнуто и отдаленно с товарищами и вдобавок развратник. Он заманивал к себе в качестве прислуги молоденьких, часто несовершеннолетних девушек из простонародья и через месяц отпускал их домой, по-своему щедро наградив деньгами, и это продолжалось у него из года в год с непостижимой правильностью. В роте у него не дрались и даже не ругались, хотя и не особенно нежничали, и все же его рота по великолепному внешнему виду и по выучке не уступила бы любой гвардейской части. В высшей степени обладал он терпеливой, хладнокровной и уверенной настойчивостью и умел передавать ее своим унтер-офицерам. Того, чего достигали в других ротах посредством битья, наказаний, оранья и суматохи в неделю, он спокойно добивался в один день. При этом он скупо тратил слова и редко возвышал голос, но когда говорил, то солдаты окаменевали. Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину: пример, может быть, единственный во всей русской армии.

Наступило наконец пятнадцатое мая, когда, по распоряжению корпусного командира, должен был состояться смотр. В этот день во всех ротах, кроме пятой, унтер-офицеры подняли людей в четыре часа. Несмотря на теплое утро, невыспавшиеся, зевавшие солдаты дрожали в своих каламянковых рубахах. В радостном свете розового безоблачного утра их лица казались серыми, глянцевитыми и жалкими.

В шесть часов явились к ротам офицеры. Общий сбор полка был назначен в десять часов, но ни одному ротному командиру, за исключением Стельковского, не пришла в голову мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смотром. Наоборот, в это утро особенно ревностно и суетливо вбивали им в голову словесность и наставления к стрельбе, особенно густо висела в воздухе скверная ругань и чаще обыкновенного сыпались толчки и зуботычины.

В девять часов роты стянулись на плац, шагах в пятистах впереди лагеря. Там уже стояли длинной прямой линией, растянувшись на полверсты, шестнадцать ротных желонеров с разноцветными флажками на ружьях. Желонерный офицер поручик Ковако, один из главных героев сегодняшнего дня, верхом на лошади носился взад и вперед вдоль этой линии, выравнивая ее, скакал с бешеным криком, распустив поводья, с шапкой на затылке, весь мокрый и красный от старания. Его шашка отчаянно билась о ребра лошади, а белая худая лошадь, вся усыпанная от старости гречкой и с бельмом на правом глазу, судорожно вертела коротким хвостом и издавала в такт своему безобразному галопу резкие, отрывистые, как выстрелы, звуки. Сегодня от поручика Ковако зависело очень многое: по его желонерам должны были выстроиться в безукоризненную нитку все шестнадцать рот полка.

Ровно без десяти минут в десять вышла из лагеря пятая рота. Твердо, большим частым шагом, от которого равномерно вздрагивала земля, прошли на глазах у всего полка эти сто человек, все, как на подбор, ловкие, молодцеватые, прямые, все со свежими, чисто вымытыми лицами, с бескозырками, лихо надвинутыми на правое ухо. Капитан Стельковский, маленький, худощавый человек в широчайших шароварах, шел небрежно и не в ногу, шагах в пяти сбоку правого фланга, и, весело щурясь, наклоняя голову то на один, то на другой бок, присматривался к равнению. Батальонный командир, подполковник Лех, который, как и все офицеры, находился с утра в нервном и бестолковом возбуждении, налетел было на него с криком за поздний выход на плац, но Стельковский хладнокровно вынул часы, посмотрел на них и ответил сухо, почти пренебрежительно:

— В приказе сказано собраться к десяти. Теперь без трех минут десять. Я не считаю себя вправе морить людей зря.

— Не разговарива-а-ать! — завопил Лех, махая руками и задерживая лошадь. — Прошу, гето, молчать, когда вам делают замечания по службе-е!..

Но он все-таки понял, что был неправ, и потому сейчас же отъехал и с ожесточением набросился на восьмую роту, в которой офицеры проверяли выкладку ранцев:

— Гет-то, что за безобразие! Гето, базар устроили? Мелочную лавочку? Гето, на охоту ехать — собак кормить? О чем раньше думали! Одеваться-а!

В четверть одиннадцатого стали выравнивать роты. Это было долгое, кропотливое и мучительное занятие. От желонера до желонера туго натянули на колышки длинные веревки. Каждый солдат первой шеренги должен был непременно с математической точностью коснуться веревки самыми кончиками носков — в этом заключался особенный строевой шик. Но этого было еще мало: требовалось, чтобы в створе развернутых носков помещался ружейный приклад и чтобы наклон всех солдатских тел оказался одинаковым. И ротные командиры выходили из себя, крича: «Иванов, подай корпус вперед! Бурченко, правое плечо доверни в поле! Левый носок назад! Еще!..»

В половине одиннадцатого приехал полковой командир. Под ним был огромный, видный гнедой мерин, весь в темных яблоках, все четыре ноги белые до колен. Полковник Шульгович имел на лошади внушительный, почти величественный вид и сидел прочно, хотя чересчур по-пехотному, на слишком коротких стременах. Приветствуя полк, он крикнул молодцевато, с наигранным веселым задором:

— Здорово, красавцы-ы-ы!..

Ромашов вспомнил свой четвертый взвод и в особенности хилую, младенческую фигуру Хлебникова и не мог удержаться от улыбки: «Нечего сказать, хороши красавцы!»

При звуках полковой музыки, игравшей встречу, вынесли знамена. Началось томительное ожидание. Далеко вперед, до самого вокзала, откуда ждали корпусного командира, тянулась цепь махальных, которые должны были сигналами предупредить о прибытии начальства. Несколько раз поднималась ложная тревога. Поспешно выдергивались колышки с веревками, полк выравнивался, подтягивался, замирал в ожидании, — по проходило несколько тяжелых минут, и людям опять позволяли стоять вольно, только не изменять положение ступней. Впереди, шагах в трехстах от строя, яркими разноцветными пятнами пестрели дамские платья, зонтики и шляпки: там стояли полковые дамы, собравшиеся поглядеть на парад. Ромашов знал отлично, что Шурочки нет в этой светлой, точно праздничной группе, но когда он глядел туда, — всякий раз что-то сладко ныло у него около сердца, и хотелось часто дышать от странного, беспричинного волнения.

Вдруг, точно ветер, пугливо пронеслось по рядам одно торопливое короткое слово: «Едет, едет!» Всем как-то сразу стало ясно, что наступила настоящая, серьезная минута. Солдаты, с утра задерганные и взвинченные общей нервностью, сами, без приказания, суетливо выравнивались, одергивались и беспокойно кашляли.

— Смиррна! Желонеры, по места-ам! — скомандовал Шульгович.

Скосив глаза направо, Ромашов увидел далеко на самом краю поля небольшую тесную кучку маленьких всадников, которые в легких клубах желтоватой пыли быстро приближались к строю. Шульгович со строгим и вдохновенным лицом отъехал от середины полка на расстояние, по крайней мере вчетверо больше, чем требовалось. Щеголяя тяжелой красотой приемов, подняв кверху свою серебряную бороду, оглядывая черную неподвижную массу полка грозным, радостным и отчаянным взглядом, он затянул голосом, покатившимся по всему полю:

— По-олк, слуш-а-ай! На крра-а-а…

Он выдержал нарочно длинную паузу, точно наслаждаясь своей огромной властью над этими сотнями людей и желая продлить это мгновенное наслаждение, и вдруг, весь покраснев от усилия, с напрягшимися на шее жилами, гаркнул всей грудью:

— …ул!..

Раз-два! Всплеснули руки о ружейные ремни, брякнули затворы о бляхи поясов. С правого фланга резко, весело и отчетливо понеслись звуки встречного марша. Точно шаловливые, смеющиеся дети, побежали толпой резвые флейты и кларнеты, с победным торжеством вскрикнули и запели высокие медные трубы, глухие удары барабана торопили их блестящий бег, и не поспевавшие за ним тяжелые тромбоны ласково ворчали густыми, спокойными, бархатными голосами. На станции длинно, тонко и чисто засвистел паровоз, и этот новый мягкий звук, вплетясь в торжествующие медные звуки оркестра, слился с ним в одну чудесную, радостную гармонию. Какая-то бодрая, смелая волна вдруг подхватила Ромашова, легко и сладко подняв его на себе. С проникновенной и веселой ясностью он сразу увидел и бледную от зноя голубизну неба, и золотой свет солнца, дрожавший в воздухе, и теплую зелень дальнего поля, — точно он не замечал их раньше, — и вдруг почувствовал себя молодым, сильным, ловким, гордым от сознания, что и он принадлежит к этой стройной, неподвижной могучей массе людей, таинственно скованных одной незримой волей…

Шульгович, держа обнаженную шашку у самого лица, тяжелым галопом поскакал навстречу.

Сквозь грубо-веселые, воинственные звуки музыки послышался спокойный, круглый голос генерала:

— Здорово, первая рота!

Солдаты дружно, старательно и громко закричали. И опять на станции свистнул паровоз — на этот раз отрывисто, коротко и точно с задором. Здороваясь поочередно с ротами, корпусный командир медленно ехал по фронту. Уже Ромашов отчетливо видел его грузную, оплывшую фигуру с крупными поперечными складками кителя под грудью и на жирном животе, и большое квадратное лицо, обращенное к солдатам, и щегольской с красными вензелями вальтрап на видной серой лошади, и костяные колечки мартингала, и маленькую ногу в низком лакированном сапоге.

— Здорово, шестая!

Люди закричали вокруг Ромашова преувеличенно громко, точно надрываясь от собственного крика. Генерал уверенно и небрежно сидел на лошади, а она, с налившимися кровью добрыми глазами, красиво выгнув шею, сочно похрустывая железом мундштука во рту и роняя с морды легкую белую пену, шла частым, танцующим, гибким шагом. «У него виски седые, а усы черные, должно быть нафабренные», — мелькнула у Ромашова быстрая мысль.

Сквозь золотые очки корпусный командир внимательно вглядывался своими темными, совсем молодыми, умными и насмешливыми глазами в каждую пару впивавшихся в него глаз. Вот он поравнялся с Ромашовым и приложил руку к козырьку фуражки. Ромашов стоял, весь вытянувшись, с напряженными мускулами ног, крепко, до боли, стиснув эфес опущенной вниз шашки. Преданный, счастливый восторг вдруг холодком пробежал по наружным частям его рук и ног, покрыв их жесткими пупырышками. И, глядя неотступно в лицо корпусного командира, он подумал про себя, по своей наивной детской привычке: «Глаза боевого генерала, с удовольствием остановились на стройной, худощавой фигуре молодого подпоручика».

Корпусный командир объехал таким образом поочередно все роты, здороваясь с каждой. Сзади него нестройной блестящей группой двигалась свита: около пятнадцати штабных офицеров на прекрасных, выхоленных лошадях. Ромашов и на них глядел теми же преданными глазами, но никто из свиты не обернулся на подпоручика: все эти парады, встречи с музыкой, эти волнения маленьких пехотных офицеров были для них привычным, давно наскучившим делом. И Ромашов со смутной завистью и недоброжелательством почувствовал, что эти высокомерные люди живут какой-то особой, красивой, недосягаемой для него, высшей жизнью.

Кто-то издали подал музыке знак перестать играть. Командир корпуса крупной рысью ехал от левого фланга к правому вдоль линии полка, и за ним разнообразно волнующейся, пестрой, нарядной вереницей растянулась его свита. Полковник Шульгович подскакал к первой роте. Затягивая поводья своему гнедому мерину, завалившись тучным корпусом назад, он крикнул тем неестественно свирепым, испуганным и хриплым голосом, каким кричат на пожарах брандмайоры:

— Капитан Осадчий! Выводите роту-у! Жива-а!..

У полкового командира и у Осадчего на всех ученьях было постоянное любовное соревнование в голосах. И теперь даже в шестнадцатой роте была слышна щегольская металлическая команда Осадчего:

— Рота, на плечо! Равнение на середину, шагом марш!

У него в роте путем долгого, упорного труда был выработан при маршировке особый, чрезвычайно редкий и твердый шаг, причем солдаты очень высоко поднимали ногу вверх и с силою бросали ее на землю. Это выходило громко и внушительно и служило предметом зависти для других ротных командиров.

Но не успела первая рота сделать и пятидесяти шагов, как раздался нетерпеливый окрик корпусного командира:

— Это что такое? Остановите роту. Остановите! Ротный командир, пожалуйте ко мне. Что вы тут показываете? Что это: похоронная процессия? Факельцуг? Раздвижные солдатики? Маршировка в три темпа? Теперь, капитан, не николаевские времена, когда служили по двадцати пяти лет. Сколько лишних дней у вас ушло на этот кордебалет! Драгоценных дней!

Осадчий стоял перед ним, высокий, неподвижный, сумрачный, с опущенной вниз обнаженной шашкой. Генерал помолчал немного и продолжал спокойнее, с грустным и насмешливым выражением:

— Небось людей совсем задергали шагистикой. Эх, вы, Аники-воины. А спроси у вас… да вот, позвольте, как этого молодчика фамилия?

Генерал показал пальцем на второго от правого фланга солдата.

— Игнатий Михайлов, ваше превосходительство, — безучастным солдатским деревянным басом ответил Осадчий.

— Хорошо-с. А что вы о нем знаете? Холост он? Женат? Есть у него дети? Может быть, у него есть там в деревне какое-нибудь горе? Беда? Нуждишка? Что?

— Не могу знать, ваше превосходительство. Сто человек. Трудно запомнить.

— Трудно запомнить, — с горечью повторил генерал. — Ах, господа, господа! Сказано в Писании: духа не угашайте, а вы что делаете? Ведь эта самая святая, серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, вынесет вас из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой дырявой прикроет, а вы — не могу знать.

И, мгновенно раздражаясь, перебирая нервно и без нужды поводья, генерал закричал через голову Осадчего на полкового командира:

— Полковник, уберите эту роту. И смотреть не буду. Уберите, уберите сейчас же! Петрушки! Картонные паяцы! Чугунные мозги!

С этого начался провал полка. Утомление и запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе — все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру. Во второй роте люди не знали «Отче наш», в третьей сами офицеры путались при рассыпном строе, в четвертой с каким-то солдатом во время ружейных приемов сделалось дурно. А главное — ни в одной роте не имели понятия о приемах против неожиданных кавалерийских атак, хотя готовились к ним и знали их важность. Приемы эти были изобретены и введены в практику именно самим корпусным командиром и заключались в быстрых перестроениях, требовавших всякий раз от начальников находчивости, быстрой сообразительности и широкой личной инициативы. И на них срывались поочередно все роты, кроме пятой.

Посмотрев роту, генерал удалял из строя всех офицеров и унтер-офицеров и спрашивал людей, всем ли довольны, получают ли все по положению, нет ли жалоб и претензий? Но солдаты дружно гаркали, что они «точно так, всем довольны». Когда спрашивали первую роту, Ромашов слышал, как сзади него фельдфебель его роты, Рында, говорил шипящим и угрожающим голосом:

— Вот объяви мне кто-нибудь претензию! Я ему потом таку объявлю претензию!

Зато тем великолепнее показала себя пятая рота. Молодцеватые, свежие люди проделывали ротное ученье таким легким, бодрым и живым шагом, с такой ловкостью и свободой, что, казалось, смотр был для них не страшным экзаменом, а какой-то веселой и совсем нетрудной забавой. Генерал еще хмурился, но уже бросил им: «Хорошо, ребята!» — это в первый раз за все время смотра.

Приемами против атак кавалерии Стельковский окончательно завоевал корпусного командира. Сам генерал указывал ему противника внезапными, быстрыми фразами: «Кавалерия справа, восемьсот шагов», и Стельковский, не теряясь ни на секунду, сейчас же точно и спокойно останавливал роту, поворачивал ее лицом к воображаемому противнику, скачущему карьером, смыкал, экономя время, взводы — головной с колена, второй стоя, — назначал прицел, давал два или три воображаемых залпа и затем командовал: «На руку!» — «Отлично, братцы! Спасибо, молодцы!» — хвалил генерал.

После опроса рота опять выстроилась развернутым строем. Но генерал медлил ее отпускать. Тихонько проезжая вдоль фронта, он пытливо, с особенным интересом, вглядывался в солдатские лица, и тонкая, довольная улыбка светилась сквозь очки в его умных глазах под тяжелыми, опухшими веками. Вдруг он остановил коня и обернулся назад, к начальнику своего штаба:

— Нет, вы поглядите-ка, полковник, каковы у них морды! Пирогами вы их, что ли, кормите, капитан? Послушай, эй ты, толсторожий, — указал он движением подбородка на одного солдата, — тебя Коваль звать?

— Тошно так, ваше превосходительство, Михаила Борийчук! — весело, с довольной детской улыбкой крикнул солдат.

— Ишь ты, а я думал, Коваль. Ну, значит, ошибся, — пошутил генерал. — Ничего не поделаешь. Не удалось… — прибавил он веселую, циничную фразу.

Лицо солдата совсем расплылось в глупой и радостной улыбке.

— Никак нет, ваше превосходительство! — крикнул он еще громче. — Так что у себя в деревне займался кузнечным мастерством. Ковалем был.

— А, вот видишь! — генерал дружелюбно кивнул головой. Он гордился своим знанием солдата. — Что, капитан, он у вас хороший солдат?

— Очень хороший. У меня все они хороши, — ответил Стельковский своим обычным, самоуверенным тоном.

Брови генерала сердито дрогнули, но губы улыбнулись, и от этого все его лицо стало добрым и старчески-милым.

— Ну, это вы, капитан, кажется, того… Есть же штрафованные?

— Ни одного, ваше превосходительство. Пятый год ни одного.

Генерал грузно нагнулся на седле и протянул Стельковскому свою пухлую руку в белой незастегнутой перчатке.

— Спасибо вам великое, родной мой, — сказал он дрожащим голосом, и его глаза вдруг заблестели слезами. Он, как и многие чудаковатые боевые генералы, любил иногда поплакать. — Спасибо, утешили старика. Спасибо, богатыри! — энергично крикнул он роте.

Благодаря хорошему впечатлению, оставленному Стельковским, смотр и шестой роты прошел сравнительно благополучно. Генерал не хвалил, но и не бранился. Однако и шестая рота осрамилась, когда солдаты стали колоть соломенные чучела, вшитые в деревянные рамы.

— Не так, не так, не так, не так! — горячился корпусный командир, дергаясь на седле. — Совсем не так! Братцы, слушай меня. Коли от сердца, в самую середку, штык до трубки. Рассердись! Ты не хлебы в печку сажаешь, а врага колешь…

Прочие роты проваливались одна за другой. Корпусный командир даже перестал волноваться и делать свои характерные, хлесткие замечания и сидел на лошади молчаливый, сгорбленный, со скучающим лицом. Пятнадцатую и шестнадцатую роты он и совсем не стал смотреть, а только сказал с отвращением, устало махнув рукою:

— Ну, это… недоноски какие-то.

Оставался церемониальный марш. Весь полк свели в тесную, сомкнутую колонну, пополуротно. Опять выскочили вперед желонеры и вытянулись против правого фланга, обозначая линию движения. Становилось невыносимо жарко. Люди изнемогали от духоты и от тяжелых испарений собственных тел, скученных в малом пространстве, от запаха сапог, махорки, грязной человеческой кожи и переваренного желудком черного хлеба.

Но перед церемониальным маршем все ободрились. Офицеры почти упрашивали солдат: «Братцы, вы уж постарайтесь пройти молодцами перед корпусным. Не осрамите». И в этом обращении начальников с подчиненными проскальзывало теперь что-то заискивающее, неуверенное и виноватое. Как будто гнев такой недосягаемо высокой особы, как корпусный командир, вдруг придавил общей тяжестью офицера и солдата, обезличил и уравнял их и сделал в одинаковой степени испуганными, растерянными и жалкими.

— Полк, смиррна-а… Музыканты, на лннию-у! — донеслась издали команда Шульговича.

И все полторы тысячи человек на секунду зашевелились с глухим, торопливым ропотом и вдруг неподвижно затихли, нервно и сторожко вытянувшись.

Шульговича не было видно. Опять докатился его зычный, разливающийся голос:

— Полк, на плечо-о-о!..

Четверо батальонных командиров, повернувшись на лошадях к своим частям, скомандовали вразброд:

— Батальон, на пле… — и напряженно впились глазами в полкового командира.

Где-то далеко впереди полка сверкнула в воздухе и опустилась вниз шашка. Это был сигнал для общей команды, и четверо батальонных командиров разом вскрикнули:

— …чо!

Полк с глухим дребезгом нестройно вскинул ружья. Где-то залязгали штыки.

Тогда Шульгович, преувеличенно растягивая слова, торжественно, сурово, радостно и громко, во всю мочь своих огромных легких, скомандовал:

— К це-ре-мо-ни-аль-но-му маршу-у!..

Теперь уже все шестнадцать ротных командиров невпопад и фальшиво, разными голосами запели:

— К церемониальному маршу!

И где-то, в хвосте колонны, один отставший ротный крикнул, уже после других, заплетающимся и стыдливым голосом, не договаривая команды:

— К цериальному… — и тотчас же робко оборвался.

— Попо-лу-ротна-а! — раскатился Шульгович.

— Пополуротно! — тотчас же подхватили ротные.

— На двух-взво-одную дистанцию! — заливался Шульгович.

— На двухвзводную дистанцию!..

— Ра-внение на-права-а!

— Равнение направо! — повторило многоголосое пестрое эхо.

Шульгович выждал две-три секунды и отрывисто бросил:

— Первая полурота — шагом!

Глухо доносясь сквозь плотные ряды, низко стелясь по самой земле, раздалась впереди густая команда Осадчего:

— Пер-рвая полурота. Равнение направо. Шагом… арш!

Дружно загрохотали впереди полковые барабанщики.

Видно было сзади, как от наклонного леса штыков отделилась правильная длинная линия и равномерно закачалась в воздухе.

— Вторая полурота, прямо! — услыхал Ромашов высокий бабий голос Арчаковского.

И другая линия штыков, уходя, заколебалась. Звук барабанов становился все тупее и тише, точно он опускался вниз, пуд землю, и вдруг на него налетела, смяв и повалив его, веселая, сияющая, резко красивая волна оркестра. Это подхватила темп полковая музыка, и весь полк сразу ожил и подтянулся: головы поднялись выше, выпрямились стройнее тела, прояснились серые, усталые лица.

Одна за другой отходили полуроты, и с каждым разом все ярче, возбужденней и радостней становились звуки полкового марша. Вот отхлынула последняя полурота первого батальона. Подполковник Лех двинулся вперед на костлявой вороной лошади, в сопровождении Олизара. У обоих шашки «подвысь» с кистью руки на уровне лица. Слышна спокойная и, как всегда, небрежная команда Стельковского. Высоко над штыками плавно заходило древко знамени. Капитан Слива вышел вперед — сгорбленный, обрюзгший, оглядывая строй водянистыми выпуклыми глазами, длиннорукий, похожий на большую старую скучную обезьяну.

— П-первая полурота… п-прямо!

Легким и лихим шагом выходит Ромашов перед серединой своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое растет в его душе. Быстро скользит он глазами по лицам первой шеренги. «Старый рубака обвел своих ветеранов соколиным взором», — мелькает у него в голове пышная фраза в то время, когда он сам тянет лихо нараспев:

— Втор-ая полуро-ота-а…

«Раз, два!» — считает Ромашов мысленно и держит такт одними носками сапог. «Нужно под левую ногу. Левой, правой». И с счастливым лицом, забросив назад голову, он выкрикивает высоким, звенящим на все поле тенором:

— Пряма!

И, уже повернувшись, точно на пружине, на одной ноге, он, не оборачиваясь назад, добавляет певуче и двумя тонами ниже:

— Ра-авне-ние направа-а!

Красота момента опьяняет его. На секунду ему кажется, что это музыка обдает его волнами такого жгучего, ослепительного света и что медные, ликующие крики падают сверху, с неба, из солнца. Как и давеча, при встрече, — сладкий, дрожащий холод бежит по его телу и делает кожу жесткой и приподымает и шевелит волосы на голове.

Дружно, в такт музыке, закричала пятая рота, отвечая на похвалу генерала. Освобожденные от живой преграды из человеческих тел, точно радуясь свободе, громче и веселее побежали навстречу Ромашову яркие звуки марша. Теперь подпоручик совсем отчетливо видит впереди и справа от себя грузную фигуру генерала на серой лошади, неподвижную свиту сзади него, а еще дальше разноцветную группу дамских платьев, которые в ослепительном полуденном свете кажутся какими-то сказочными, горящими цветами. А слева блестят золотые поющие трубы оркестра, и Ромашов чувствует, что между генералом и музыкой протянулась невидимая волшебная нить, которую и радостно и жутко перейти.

Но первая полурота уже вступила в эту черту.

— Хорошо, ребята! — слышится довольный голос корпусного командира. — А-а-а-а! — подхватывают солдаты высокими, счастливыми голосами. Еще громче вырываются вперед звуки музыки. «О милый! — с умилением думает Ромашов о генерале. — Умница!»

Теперь Ромашов один. Плавно-и упруго, едва касаясь ногами земли, приближается он к заветной черте. Голова его дерзко закинута назад и с гордым вызовом обращена влево. Во всем теле у него такое ощущение легкости и свободы, точно он получил неожиданную способность летать. И, сознавая себя предметом общего восхищения, прекрасным центром всего мира, он говорит сам себе в каком-то радужном, восторженном сне:

«Посмотрите, посмотрите, — это идет Ромашов». «Глаза дам сверкали восторгом». Раз, два, левой!.. «Впереди полуроты грациозной походкой шел красивый молодой подпоручик». Левой, правой!.. «Полковник Шульгович, ваш Ромашов одна прелесть, — сказал корпусный командир, — я бы хотел иметь его своим адъютантом». Левой…

Еще секунда, еще мгновение — и Ромашов пересекает очарованную нить. Музыка звучит безумным, героическим, огненным торжеством. «Сейчас похвалит», — думает Ромашов, и душа его полна праздничным сиянием. Слышен голос корпусного командира, вот голос Шульговича, еще чьи-то голоса… «Конечно, генерал похвалил, но отчего же солдаты не отвечали? Кто-то кричит сзади, из рядов… Что случилось?»

Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота вместо двух прямых стройных линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось оттого, что подпоручик, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение. Все это Ромашов увидел и понял в одно короткое, как мысль, мгновение, так же как увидел и рядового Хлебникова, который ковылял один, шагах в двадцати за строем, как раз на глазах генерала. Он упал на ходу и теперь, весь в пыли, догонял свою полуроту, низко согнувшись под тяжестью амуниции, точно бежа на четвереньках, держа в одной руке ружье за середину, а другой рукой беспомощно вытирая нос.

Ромашову вдруг показалось, что сияющий майский день сразу потемнел, что на его плечи легла мертвая, чужая тяжесть, похожая на песчаную гору, и что музыка заиграла скучно и глухо. И сам он почувствовал себя маленьким, слабым, некрасивым, с вялыми движениями, с грузными, неловкими, заплетающимися ногами.

К нему уже летел карьером полковой адъютант. Лицо Федоровского было красно и перекошено злостью, нижняя челюсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки. Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и давясь словами:

— Подпоручик… Ромашов… Командир полка объявляет вам… строжайший выговор… На семь дней… на гауптвахту… в штаб дивизии… Безобразие, скандал… Весь полк о…… и!.. Мальчишка!

Ромашов не отвечал ему, даже не повернул к нему головы. Что ж, конечно, он имеет право браниться! Вот и солдаты слышали, как адъютант кричал на него. «Ну, что ж, и пускай слышали, так мне и надо, и пускай, — с острой ненавистью к самому себе подумал Ромашов. — Все теперь пропало для меня. Я застрелюсь. Я опозорен навеки. Все, все пропало для меня. Я смешной, я маленький, у меня бледное, некрасивое лицо, какое-то нелепое лицо, противнее всех лиц на свете. Все пропало! Солдаты идут сзади меня, смотрят мне в спину, и смеются, и подталкивают друг друга локтями. А может быть, жалеют меня? Нет, я непременно, непременно застрелюсь!»

Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место, откуда они начали движение. Тут их перестраивали в развернутый ротный строй. Пока подходили задние части, людям позволили стоять вольно, а офицеры сошли с своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног и хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды.

Капитан Слива прошел мимо Ромашова и, не останавливаясь, не глядя на него, точно разговаривая сам с собою, проворчал хрипло, со сдержанной злобой, сквозь сжатые зубы:

— С-сегодня же из-звольте подать рапорт о п-переводе в другую роту.

Потом подошел Веткин. В его светлых, добрых глазах и в углах опустившихся губ Ромашов прочел то брезгливое и жалостное выражение, с каким люди смотрят на раздавленную поездом собаку. И в то же время сам Ромашов с отвращением почувствовал у себя на лице какую-то бессмысленную, тусклую улыбку.

— Пойдем покурим, Юрий Алексеевич, — сказал Веткин.

И, чмокнув языком и качнув головой, он прибавил с досадой:

— Эх, голубчик!..

У Ромашова затрясся подбородок, а в гортани стало горько и тесно. Едва удерживаясь от рыданий, он ответил обрывающимся, задушенным голосом обиженного ребенка:

— Нет уж… что уж тут… я не хочу…

Веткин отошел в сторону. «Вот возьму сейчас подойду и ударю Сливу по щеке, — мелькнула у Ромашова ни с того ни с сего отчаянная мысль. — Или подойду к корпусному и скажу: „Стыдно тебе, старому человеку, играть в солдатики и мучить людей. Отпусти их отдохнуть. Из-за тебя две недели били солдат“».

Но вдруг ему вспомнились его недавние горделивые мечты о стройном красавце подпоручике, о дамском восторге, об удовольствии в глазах боевого генерала, — и ему стало так стыдно, что он мгновенно покраснел не только лицом, но даже грудью и спиной.

«Ты смешной, презренный, гадкий человек! — крикнул он самому себе мысленно. — Знайте же все, что я сегодня застрелюсь!»

Смотр кончался. Роты еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром: сначала поротно шагом, потом бегом, затем сомкнутой колонной с ружьями наперевес. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Было уже около четырех часов. Наконец полк остановили и приказали людям стоять вольно. Штаб-горнист затрубил «вызов начальников».

— Господа офицеры, к корпусному командиру! — пронеслось по рядам.

Офицеры вышли из строя и сплошным кольцом окружили корпусного командира. Он сидел на лошади, сгорбившись, опустившись, по-видимому сильно утомленный, но его умные, прищуренные, опухшие глаза живо и насмешливо глядели сквозь золотые очки.

— Буду краток, — заговорил он отрывисто и веско. — Полк никуда не годен. Солдат не браню, обвиняю начальников. Кучер плох — лошади не везут. Не вижу в вас сердца, разумного понимания заботы о людях. Помните твердо: «Блажен, иже душу свою положит за други своя». А у вас одна мысль — лишь бы угодить на смотру начальству. Людей завертели, как извозчичьих лошадей. Офицеры имеют запущенный и дикий вид, какие-то дьячки в мундирах. Впрочем, об этом прочтете в моем приказе. Один прапорщик, кажется, шестой или седьмой роты, потерял равнение и сделал из роты кашу. Стыдно! Не требую шагистики в три темпа, но глазомер и спокойствие прежде всего.

«Обо мне!» — с ужасом подумал Ромашов, и ему показалось, что все стоящие здесь одновременно обернулись на него. Но никто не пошевелился. Все стояли молчаливые, понурые и неподвижные, не сводя глаз с лица генерала.

— Командиру пятой роты мое горячее спасибо! — продолжал корпусный командир. — Где вы, капитан? А, вот! — генерал несколько театрально, двумя руками поднял над головой фуражку, обнажил лысый мощный череп, сходящийся шишкой над лбом, и низко поклонился Стельковскому. — Еще раз благодарю вас и с удовольствием жму вашу руку. Если приведет бог драться моему корпусу под моим начальством, — глаза генерала заморгали и засветились слезами, — то помните, капитан, первое опасное дело поручу вам. А теперь, господа, мое почтение-с. Вы свободны, рад буду видеть вас в другой раз, но в другом порядке. Позвольте-ка дорогу коню.

— Ваше превосходительство, — выступил вперед Шульгович, — осмелюсь предложить от имени общества господ офицеров отобедать в нашем собрании. Мы будем…

— Нет, уж зачем! — сухо оборвал его генерал. — Премного благодарен, я приглашен сегодня к графу Ледоховскому.

Сквозь широкую дорогу, очищенную офицерами, он галопом поскакал к полку. Люди сами, без приказания, встрепенулись, вытянулись и затихли.

— Спасибо, N-цы! — твердо и приветливо крикнул генерал. — Даю вам два дня отдыха. А теперь… — он весело возвысил голос, — по палаткам бегом марш! Ура!

Казалось, он этим коротким криком сразу толкнул весь полк. С оглушительным радостным ревом кинулись полторы тысячи людей в разные стороны, и земля затряслась и загудела под их ногами.

Ромашов отделился от офицеров, толпою возвращавшихся в город, и пошел дальней дорогой, через лагерь. Он чувствовал себя в эти минуты каким-то жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи, каким-то неприятным, чуждым для всех человеком, и даже не взрослым человеком, а противным, порочным и уродливым мальчишкой.

Когда он проходил сзади палаток своей роты, по офицерской линии, то чей-то сдавленный, но гневный крик привлек его внимание. Он остановился на минутку и в просвете между палатками увидел своего фельдфебеля Рынду, маленького, краснолицего, апоплексического крепыша, который, неистово и скверно ругаясь, бил кулаками по лицу Хлебникова. У Хлебникова было темное, глупое, растерянное лицо, а в бессмысленных глазах светился животный ужас. Голова его жалко моталась из одной стороны в другую, и слышно было, как при каждом ударе громко клацали друг о друга его челюсти.

Ромашов торопливо, почти бегом, прошел мимо. У него не было сил заступиться за Хлебникова. И в то же время он болезненно почувствовал, что его собственная судьба и судьба этого несчастного, забитого, замученного солдатика как-то странно, родственно-близко и противно сплелись за нынешний день. Точно они были двое калек, страдающих одной и той же болезнью и возбуждающих в людях одну и ту же брезгливость. И хотя это сознание одинаковости положений и внушало Ромашову колючий стыд и отвращение, по в нем было также что-то необычайное, глубокое, истинно человеческое.